

УДК 316

НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ТЕРРОРИЗМА: ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАМЕНЫ «ДИСКУРСА ВОЙНЫ» «ДИСКУРСОМ НЕНАВИСТИ»

© 2016 г.

*К.Г. Мальцев¹, Е.А. Зайцева²*¹Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексева

Maltsevaannav@mail.ru

*Статья поступила в редакцию 26.10.2015**Статья принята к печати 13.01.2016*

Исследуются возможности и обоснованность смены концептуальной схемы социальной и политической философии вследствие замены «дискурса войны» как основополагающего для политической философии Нового и Новейшего времени (П. Рикер) [1] «дискурсом ненависти» (А. Глюксманн). Как необходимое следствие расширения господства неолиберальной идеологии рассматривается использование в качестве инструмента познания социальной реальности «неолиберального дискурса терроризма»; выявляется значение идеологии как организующей пространство осмысленности (Ф. Анкерсмит) суждений относительно социально-исторической реальности, демонстрируется конститутивная роль «точки зрения» для ее (реальности) упорядочения. «Неолиберальный дискурс терроризма» сопоставляется с пониманием политического действия как события, разрывающего «социальный порядок» (А. Бадью), политического события как революции *par excellence* (С. Жижек), как террора.

Ключевые слова: терроризм, дискурс, «дискурс войны», «дискурс ненависти», «неолиберальный дискурс терроризма», событие, решение, идеология.

Введение: постановка вопроса

Видимость устойчивости, свойственная некоторым понятиям, особенно в тех случаях, когда они обозначены знакомым и привычным словом, и само собой разумеется, что мы представляем себе его содержание, потому что нам известен предмет, к которому оно (знание) относится, мы его (предмет) представляем, является, по утверждению еще одного из основоположников научной социологии Э. Дюркгейма, препятствием для научной работы: преодоление идеологической фазы развития науки и борьбу с предпосылками он считал условием научного исследования как такового [2]. Г.Г. Гадамер полагал, что речь идет не столько о различии между якобы смутным и путанным донаучным знанием и ясным, отчетливым и строгим научным¹; для того чтобы отдавать себе отчет в том, что именно говорит/пишет исследователь, он должен заботиться, чтобы понятия употреблялись и понимались в том именно смысле, который мы стараемся эксплицировать их использованием, причем «понятийная система, в которой разворачивается философствование, всегда владеет нами точно так же, как определяет нас язык, в котором мы живем. Осознать подобную предрасположенность мышления понятиями –

этого требует добросовестность мысли. Такого нового критического сознания, неизбежно сопровождающее отныне всякое ответственное философствование и выводящее те языковые и мыслительные привычки, какие складываются у отдельного человека в процессе коммуникации с окружающим его миром, на суд исторической традиции, которой мы все принадлежим» [3, с. 43]. Формальная логика утверждает требование, чтобы значение понятия не менялось в рассуждении. Все это достаточно хорошо известно и в целом принято профессиональным цехом в том числе и исследователей в области социальной философии, теоретической социологии, философии политики и политических учений (хотя иногда кажется, что не вполне: Гадамер редко входит в круг чтения в процессе профессиональной социализации специалистов в области социально-политических наук); но соблюсти, даже просто «учесть» названные правила – задача достаточно сложная, особенно если иметь в виду далекие от формализации области научного знания, и речь здесь идет не о «субъективных недостатках», – обнаружить некоторые обстоятельства, делающие выполнение приведенных выше требований практически неисполнимыми, и причем обстоятельства – внешние (в привычном словоупотреблении –

«объективные»), является задачей настоящей статьи. Наш анализ в данной статье будет ориентирован на понятие «террора/терроризма»² и охватывать период с 1990 г. по настоящее время: в этот, относительно короткий, промежуток времени радикально изменилось содержание понятия и порядок его использования; причем речь идет не об «уточнении», не об обнаружении новых «признаков» и др. Изменение приключилось в «концептуальном ядре» (определяющая ранее связка «Террор – Революция» «сокрылась») и таким образом, что важнейшей причиной стало изменение «горизонта смысла», контекста; задача нашей статьи – выявить релевантные «обстоятельства» как условия необходимости указанного изменения.

«Смысловое ядро» понятия «террор», тематизируемое средствами социальной философии/политической философии/политических учений, эксплицировано для широкого использования в социальных науках (политической наукой, социологией политики, в политической журналистике) и закреплено в массовом сознании усилиями двух «интеллектуалов» (в этом определении нет ничего уничижительного: таким способом обозначается область деятельности, пограничная для академической философии и философской публицистики, то есть именно та область, которая оказывает определяющее воздействие как на социальные науки, так и на массовое сознание): А. Глюксманна и С. Жижика (еще один автор, Ж. Бодрийяр [6], связавший терроризм с «имплозией социального», не так интересен для нас ввиду целей настоящей статьи).

**Замена «дискурса войны» «дискурсом
ненависти» и решение суверена:
замена основоположения политической
философии (А. Глюксманн)³**

«Философия ненависти» Глюксманна, посвященная «одной чеченской розе», настойчиво указывает на «постоянное метафизическое содержание» понятия – на «ненависть», символом которой для Глюксманна является Медея (насколько его Медея «соответствует» фигуре греческой мифологии – вопрос, требующий специального изучения, сам Глюксманн ссылается на образ из трагедии Сенеки). В предисловии к книге «Философия ненависти» Глюксманн заявляет, что «утверждение, отстаиваемое здесь: ненависть существует, мы все встречали ее» [11, с. 11], и сразу же расшифровывает, что он понимает под «ненавистью»: «Страсть нападать и уничтожать не изгоняется словесным

колдовством. Причины, приписываемые ей, – не более чем благоприятные обстоятельства, просто удобные случаи, – в них не бывает недостатка, – чтобы дать волю разрушению ради разрушения» [11, с. 11–12]. Глюксманн перечисляет «свойства» ненависти: «Ненависть судит, не выслушав. Ненависть выносит приговор по своему желанию. Она ничего не уважает, думает, что противостоит мировому заговору. В конце концов, закованная в латы своей мстительности, она рассекает все узлы произвольным и самовластным ударом зуба. Ненавижу, следовательно, существую» [11, с. 12]. Глюксманн решительно отклоняет мнение, будто ненависть «вторична», есть «ответ». Нет, утверждает он, ненависть именно первична и изначальна: «Вопреки современным элегиям ненависть не сводится ни к эротической неудаче, ни к какому-либо ложному шагу или к несчастной любви, которая якобы должна свидетельствовать о первоначальной страсти, благожелательной, только ошибившейся предметом и часом. Ненависть – не несчастный случай, не ошибка выбранного пути. Это основополагающая страсть к разрушению, она являет пропасть у самой поверхности земли, под самой кожей, пропасть, которая не за нами, но в нас, вокруг нас. Это отрицание подрывное, радикальное, оно – в самом корне, и оно доказывает свою действенность настойчивым зовом первичного хаоса» [11, с. 48–49]. Метафизическая глубина здесь получает название «первичного хаоса»: в философии нет образа большей «изначальности». Медея, образ которой Глюксманн использует для демонстрации «логики ненависти», «перестает печься о том, чтобы иметь, она желает быть. Отнюдь не стремясь выторговать хоть какие-то утешения, она набивает цену, раскаляет добела свое страдание, мучит себя, берedit свои раны, расчесывает язвы, усиливая свою муку» [11, с. 55]. Человек, предавшийся ненависти, «сам освобождается от всех связей» [11, с. 61]. Медея – чудовище; «освобожденная от всех связей», от самой себя, то есть перестав быть человеком, она «не выбирает между человекоубийством и самоубийством. Только тот, кто знает, как убить себя, так же хорошо, как убивать других, достигает сиятельной и чудовишной доблести человеческой бомбы» [11, с. 70]. Итак, Глюксманном найдено слово: террорист – это «человеческая бомба»; «идеальным типом» такой бомбы он считает Медею. Итак, есть «метафизическая ненависть». Во-первых, «ненависть существует», «разрушительное бешенство свирепствует в чистом виде» [11, с. 274]. Глюксманн приводит его примеры, но мы

должны пока оставить их разбор. Во-вторых, «ненависть прикрывается нежностью», то есть она утверждает, что имеет благие, высокие цели. Этому нельзя верить. Тому, чему Глюксманн приписывает ненависть, нельзя верить, нельзя его слушать, это – манихейское «абсолютное зло», что бы оно о себе ни говорило. В-третьих, «ненависть ненасытна», с ней и с ее носителями, с теми, в ком совершается ее «прорыв», нельзя договориться: она абсолютизирует свои «ненавистные цели». В-четвертых, «ненависть обещает рай»: «Прежде – гласят легенды – люди и боги говорили на одном языке, жили вместе, делили пиры вечности: ненависть поселяется в этой мифической доистории, она не признает ни разделения полов, ни разделения языков, ни разделения на смертных и бессмертных» [11, с. 274–275]. В-пятых, «ненависть хочет быть Богом-Творцом». Итак: «Новые поколения, разыгрывая неверие в небылицы, сумели-таки развернуть в свою пользу присущее человеку стремление к обожествлению себя. В благословенную эпоху, когда Европа верила, что она бессмертна, с чем она так болезненно прощается, просвещенный индивид располагал свои отношения к самому себе и окружающему миру на трех осях – жизни, языке и труде. Эти регулятивные идеи – «квази-трансценденталы», по словам Мишеля Фуко, являются также опорными ориентирами, позволяющими европейцу считать себя существом живым, говорящим и производящим. Бросается в глаза, что самые плотные сгустки ненависти стараются затемнить именно эти три порядка личного опыта. Передача жизни затруднена различием полов, и на женщин – больных и развращенных, колдуний и гейш – возлагается бремя этого греха. Душа аутентичного – ибо родного – языка профанирована евреем без корней, который перемешивает закрытые общества и вносит ложь и притворство в глас народный, до сих пор бывший естественным, следовательно – романтически непогрешимым. Что до неподконтрольного обмена на мировом уровне, он препятствует сплоченному сообществу производить и воспроизводить себя за закрытыми дверями. Чтобы божественно работать, совокупляться и думать по-арабски или по-французски, по-хорватски, по-гречески, по-бразильски, по-итальянски, по-русски, по-судански и даже по-сирийски, нужно – да здравствует ненависть – установить надзор за слабым полом, устранить еврейский фактор и выставить за дверь американца. Тогда ненависть возложит на вас венец Бога» [11, с. 275–276]. В-шестых, «ненависть любит до смерти»: «От женщин она требует исчезнуть под покры-

валом, раствориться в бесформенности, окутать себя молчанием, похоронить себя заживо. От евреев – чтобы они слились с пейзажем, говорили, чтобы отрицать свое существование, чтобы устранили себя в качестве других, устранили это устранение, чтобы заставили забыть о себе, а не то им помогут сделать это силой. Что до американцев, у них нет другого выхода, как поголовно провозгласить себя антиамериканцами... Женщина должна убить себя как женщину, еврей – как еврея, Америка – как Америку. Чего требует ненависть от объектов, преследуемых ее любовью? Их смерти. Вплоть до собственноручного нажатия на гашетку, если они вздумают увиливать» [11, с. 276–277]. В-седьмых, «ненависть питается своим опустошением»: «Солдат ненависти ищет спасения лишь для себя самого, избранный богом самец хочет спастись от женщины, святое и здоровое сообщество – от еврейской заразы, геваристы митингов по антиглобализации – от американского рака... Мистический секрет вульгарных апокалипсисов заключается в неприязни интегриста к собственному образу, который жестоко напоминает ему о его мирском и смертном бытии. Стыд самого себя и стремление стать богом идут бок о бок; к каждому, с кем она встречается, кого объемлет и палит, обращает ненависть свое суицидальное требование сделать самоубийство самой распространенной вещью в мире. В чем оказывается прямой противоположностью здравому смыслу» [11, с. 277–278].

Заключение к книге, названное «Семь цветов ненависти», «выводит» нас в более широкий «горизонт смысла», в котором Глюксманн предлагает познавать ненависть, если у кого-то еще возникнет такое желание: книга в этом отношении претендует быть «ориентиром», «началом». Однако само указание на «горизонт» способно многое сказать о намерениях Глюксманна: он еще раз, предельно жестко, фиксирует, *к чему должна быть отнесена метафизическая ненависть*. Всякий, кто будет искать иначе или в другом месте, есть «дьявол ненависти».

Впрочем, прежде чем делать выводы относительно *источников* глюксманновской одержимости «ненавистью к ненависти», следует вернуться к началу: ненависть есть «суть» того, что Глюксманн назвал человеком-бомбой; человек-бомба, в свою очередь, есть «смысловое ядро» терроризма. В этом у читателей Глюксманна не должно оставаться сомнений: «историю» он начинает «ранним утром 11 сентября 2001 года», когда он вспоминает об «отсутствии иммунитета к ненависти» [11, с. 13]. Вспомина-

ет потому, что в этот день совершился «прорыв inferно»: «Опустошительное буйство бушует как ураган, у него нет ни начала, ни конца, оно бессвязно. Зачинщики 11 сентября посчитали бесполезным сопроводить высокое деяние своего оружия требовательным или мстительным коммюнике. Без подписи. Без удостоверения личности. Без объяснения, без оправдания. Молчание делает свое дело. Опустошает. Только пустота и оцепенение, куда валится все, что только можно вообразить, от самого разумного до самого дурацкого. Прежде чем Бен Ладен заявил о своих возможных авторских правах, прошло несколько недель. Мировое потрясение тем более впечатляет, что сила, обратившая в пыль сердце Манхэттена, остается немой, величественной, непреклонной, не поддающейся уговорам, как сейсмическая катастрофа или безумие какого-нибудь бога» [11, с. 58]. Так, сомнений нет: то, что обозначается словом «терроризм», имеет метафизическое основание, которое мы, вслед за Глюксманном, назвали и описали как ненависть.

Вводимое Глюксманном определение выглядит так: «Я называю терроризмом умышленное нападение вооруженных людей на безоружное население» [11, с. 25]. И далее: «Терроризмом является умышленная агрессия против гражданского населения, неизбежно захватываемого врасплох и беззащитного. Одеты ли захватчики заложников и убийцы младенцев в униформу или нет, используют ли бесполезное оружие или нет, это ничего не меняет. Провозглашают ли возвышенные идеалы – тоже ничего не меняет. Считается только явное намерение, осуществляемое в конкретных действиях с целью стереть с лица Земли не важно кого» [11, с. 25]. Еще одно определение: «Терроризм – умышленная агрессия на безоружных граждан со стороны людей вооруженных (в униформе или без нее)» [11, с. 249]. В данном определении обращает на себя внимание прежде всего то, что Глюксманн не считает «униформу» сколько-нибудь важным признаком, который следовало бы принимать в расчет при определении терроризма. Этим он показывает свое отношение к тому, что «символизирует» униформа, к смыслу, который связывает с этим символом политическая философия. Обратимся к книге Х. Хофмайстера «Воля к войне», чтобы выяснить, что именно ставится под сомнение, отрицается определением Глюксманна. «Понимание войны (в особенности войны оборонительной), как оно выражено в Уставе ООН, зиждется на классическом понятии правового государства. Согласно этому понятию, воору-

женные силы с их институтами служат осуществлению насилия от лица государства. Солдат является как бы «функционером государственного насилия». Такое понятие государства подразумевает, что по-военному организованное насилие существует лишь там, где существует государственный порядок. Однако и в естественном состоянии, где действует право сильного, самые различные группы объединяются с целью защиты от других групп или нападения на них. Даже если насилие, которое от них исходит, иного рода, нежели то, для осуществления и применения которого используется государственный аппарат, оно в любом случае должно расцениваться как насилие военное. Мы говорим о военном насилиии, когда оно выступает в качестве организованного насилия, и понимаем государственную власть – в соответствии с классической теорией государства – как особую форму такового. Войны протекают в определенных формах и соответственно происходят исключительно между государственными или организованными аналогично государственным группами, для вооруженных операций которых характерна известная непрерывность. Облачение в униформу – начиная с боевой раскраски индейских племен, надевания определенных украшений из перьев и вплоть до ношения современной военной формы – демонстрирует, что в подобных случаях насилие применяется не как индивидуальное насилие, а как насилие общностное. Использование униформы отличает войну от других форм насильственного разрешения массовых конфликтов» [12, с. 25–26].

Государство представляет собой организованную монополию насилия в определенном объеме (имеется в виду территория и гражданство). Теперь, когда Глюксманн отрицает «униформу как признак», он, во-первых, ставит под сомнение весь категориальный строй классической политической философии, претендуя не меньше, чем на «смену парадигмы»: государство, суверенитет, власть и другие понятия теряют свое *абсолютное значение категорий*, посредством которых *происходит упорядочение социально-политического бытия*. Во-вторых, Глюксманн ставит под сомнение принципы международного права, для которого *абсолютной и конститутивной*, со времен Вестфальского мирного договора, является категория государственного суверенитета. Глюксманн и не отрицает подобных претензий. Клеймя наряду с антиглобалистами, «альтермондиалистами» и «приверженцев суверенитета» [11, с. 185], Глюксманн, интерпретируя Хартию Объеди-

ненных Наций в смысле, что она налагает «запрет на завоевание, но не на введение демократии» [11, с. 153], провозглашает: «Право народов на освобождение от предельного деспотизма – право D-Day – *первенствует* над обычным уважением к границам и *вековым принципом суверенитета*» [11, с. 153]. Далее следует вполне практический вывод: «Могут ли Соединенные Штаты по-прежнему провозглашать свое право на вмешательство, крещенное кровью, пролитой для освобождения Европы? Да. Несмотря на совершенные в иракских тюрьмах недавние бесчинства? Да. Ибо во всем худшем, как и во всем лучшем, Соединенные Штаты остаются демократией. И даже самой примерной из демократий» [11, с. 153]. Как связаны «бесчинства в иракских тюрьмах» и «принцип государственного суверенитета»; «освобождение Европы» и «право на введение демократии в Ираке»; «примерность американской демократии» и «право ведения войны» – это очевидно для Глюксманна. Наша задача – выявить основания подобной очевидности. Однако, ко всему сказанному выше, «право на введение демократии» толкуется Глюксманном еще более расширительно: говоря о «терроризме государства» как почти однородном с «терроризмом небольшой группки людей» понятии (и то, и другое есть для Глюксманна терроризм); «терроризм государства и терроризм крохотной группки людей работают как два поставленных друг перед другом зеркала» [11, с. 34]. Глюксманн пишет так: «С тех пор как Путин в 1999 году вторгся в Чечню» [11, с. 34] – и называет российскую армию «оккупационной армией» [11, с. 112] (примеры можно множить до бесконечности, они составляют едва ли не половину иллюстративного материала книги, разумеется, иллюстрирующего проявления терроризма). Видимо, речь идет не просто о праве на введение демократии, превышающем суверенитет, но о праве вполне определенных государств (здесь речь идет о США) на насильственное введение вполне определенной (наилучшей, образцовой, правильной – все эти слова использованы самим Глюксманном) демократии. Собственно, подобное право на введение демократии является безусловным только для США и Израиля (для последнего – в форме права на абсолютный суверенитет); для всех, в том числе и европейских государств, несмотря на то, что Глюксманн отождествляет европейское сообщество с мировым сообществом («всему европейскому сообществу, то есть сообществу почти мировому» [11, с. 261]), право на суверенитет и на «насильственное внедрение демократии» явля-

ется обусловленным присоединением к США: «Настало время решений. Или Европа объединится в сопротивлении инженерам апокалипсиса – выбор Тони Блэра, Польши, Италии, Чехии... Или, противопоставляя себя Соединенным Штатам, она встанет на путь псевдо-«лагеря мира», как Франция, Германия и Россия» [11, с. 263–264]. Вот и пригодился терроризм как «прорыв inferно», как «абсолютная ненависть», как «манихейское зло»: мы имеем «абсолютное, метафизически углубленное» основание политического выбора. «Терроризм как наша главная философская проблема» есть то «место», в котором совершается опровержение классической политической философии, отмена Вестфальских принципов международного права, отрицание государственного суверенитета, установление нового мирового порядка – ни больше, ни меньше, если верить *свидетельству* Глюксманна, человеку и философу, очень чутко реагирующему на «тектонические сдвиги» (он доказал это своим творчеством на протяжении жизни) в области социального («социально-политического») бытия.

Глюксманн согласен с введением термина «террористическая война» и сам его неоднократно использует. Но отличие террористической войны от обычной именно в «безграничности» первой: в террористической войне нет границы между фронтом и тылом, нет разницы между своей и чужой территорией. Терроризм стал глобальным. Стратегия «человеческих бомб» «отменяет это каноническое деление. Больше нет полей сражений, линии фронта. Не стало тыла, каждый гражданский житель оказывается солдатом поневоле и потенциально приговоренным» [11, с. 250]. Цель «интернационализации терроризма» – считает Глюксманн – состоит в том, чтобы «с помощью страха и трепета трансформировать все человечество в общество живых мертвецов, апатичных и парализованных очевидностью внутренне присущей им уязвимости» [11, с. 250]. Цель вполне «универсальная», какая только и может быть у «метафизического зла». Глюксманн неустанно подчеркивает связь между современным терроризмом и метафизической ненавистью: «Бен Ладен мобилизует не классические силы, а ненависть. Ненависть, которая, вооружившись обычным тесаком, будет стоять иных замысловатых агрегатов» [11, с. 250]. Изменилась *цель*, что вполне понятно, когда имеют дело с «ненавистью самой по себе»: «Бен Ладен (для Глюксманна – такая современная Медея. – К.М., Е.З.) метит не столько в территории, сколько в мозги, он на свой манер продвигает универсализацию лихо-

радошно-антизападных настроений» [11, с. 250]. Глюксманна совершенно не интересует происхождение «Бен Ладена», он не знает или не хочет знать, что первоначально Бен Ладен был «борцом за свободу против СССР в Афганистане» и сотрудничал с американскими спецслужбами: история не может дать ни опровержений, ни подтверждений, генеалогия не может быть аргументом, когда речь идет о мировом зле: Медея разорвала все связи и отказалась от прошлой себя. То же, по-видимому, случилось и с Бен Ладеном, когда он вступил на «путь зла» и им «овладела ненависть».

Глюксманн спрашивает: «Является ли террористическая война, которая с помощью ужасающих материальных разрушений метит в сознание гражданина, лишь новой формой вооруженного решения конфликта или все же – более оригинальная и радикальная – она вынуждает нас выйти за рамки дискурса войны, чтобы, как пытается указать эта книга, непосредственно соприкоснуться с дискурсом ненависти» [11, с. 251]. Ответ на вопрос ясен: конечно, надлежит соприкоснуться с дискурсом ненависти. Но это не главное: прежде всего следует выйти за рамки дискурса войны. «Дискурс ненависти», противопоставленный «дискурсу войны», должен *стать описанием нового мирового порядка*, создавая новое поле (концептуальный каркас) политической философии, новые «горизонты смысла».

Итак, перед нами – вполне определившийся и определенный *дискурс*. Для большинства статей о «терроризме», появившихся после 1990 г., реконструированный нами с опорой на Глюксманна «дискурс» может рассматриваться как их «матрица»: в нем содержатся все ключевые утверждения, конститутивные для порядка рассуждения «о терроризме», вся «аксиоматика» «неолиберального дискурса терроризма» (и, что очень важно, Глюксманном проговариваются его «философские», отсылающие к онтологическому порядку социального, предпосылки). Одновременно в «дискурсе ненависти» мы имеем *место* изменения концептуального каркаса социальной и политической философии: замену «дискурса войны» «дискурсом ненависти».

Однако не будем торопиться с выводами и попытаемся реконструировать концептуальную схему, в которую вписывает «терроризм» С. Жижек (конечно, эти два автора не сопоставимы ни в чем: слишком разный у них «интеллектуальный масштаб»). Однако в нашем случае именно различие между ними поможет лучше продемонстрировать *суть* «смыслового сдвига» в понятии (если оно есть) «терроризм», что, в свою очередь, укажет на причину такого сдвига).

Политическое действие: террор как элемент политического (С. Жижек)

В книге «Щекотливый субъект: Отсутствующий центр политической онтологии» (1999 г.) С. Жижек постепенно подводит читателя к выводу, что политическое действие как таковое всегда есть «террор»; сам вывод в конце книги звучит так: «Это означает, что в каждом подлинном действии содержится нечто по своей сути «террористическое», в его жесте полного переопределения «правил игры», включая самую исходную само-идентичность того, кто его совершает, — политическое действие в собственном смысле слова высвобождает силу негативности, которая разрушает саму основу нашего бытия. Поэтому, когда левых обвиняют в том, что своими искренними и благими намерениями они закладывают основу для сталинистского или маоистского террора, нужно научиться избегать либеральной ловушки принятия этого обвинения за чистую монету и последующих попыток защититься, не признавая себя виновным («Наш социализм будет демократичным, уважающим права человека, достоинство и счастье; никакой общеобязательной партийной линии не будет...»): нет, либеральная демократия — не наш основной горизонт; как бы это ни резало слух, но ужасный опыт сталинистского политического террора не должен привести к отказу от самого принципа террора — необходимо найти путь к более «правильному террору». Разве структура подлинного политического действия не обладает по определению структурой принудительного выбора и потому является «террористической?»» [13, с. 508]. Нам следует указать на важнейшие аргументы, которыми С. Жижек подкрепляет свой вывод; перечислим их, следуя порядку изложения в названной книге. Первое. Неизменной для Жижека является опора на Лакана; в первой главе, в связи с интерпретацией некоторых утверждений Канта, Жижек обнаруживает область, открывающуюся радикальной работой рассудка (по ходу изложения несколько раз появляется ссылка на Гегеля, который, утверждает Жижек, был гораздо более Канта склонен отдавать должное силе рассудка в сравнении с другими способностями интеллигенции) — это есть реальное (несколько раз эта, открывающаяся рассудком, «область» соотносится с «кусочками» Лакана), имеющее, по-видимому, статус изначального в онтологическом порядке следования. Одновременно это реальное является условием возможности нового, то есть изменения онтологического порядка:

нам нет необходимости более точно воспроизводить рассуждения Жижека в той части, где он, в соответствии с Лаканом, проводит тонкие различия между реальным, фантазией, другим (или большим другим) иным и т.п. (иногда они прописываются с заглавной буквы). Второе. Переходя к области политической философии, Жижек ставит в связь с предшествующим изложением теории Бадью, Рансьера, Балибара, которые, по утверждению Жижека, «вышли из» Альтюссера. Событие, по А. Бадью [14], есть разрыв в онтологическом порядке, дает возможность появлению нового, вообще – событие есть возможность изменения в онтологическом порядке бытия; условие реализации возможности – верность событию (важно, что событие меняет прошлое и будущее). В этой связи уместной нам представляется отсылка к «нарративной логике» Ф. Анкерсмита [15], апеллирующей к иным теоретическим источникам, но достаточно хорошо описывающей схему воздействия на прошлое в его отношении к избранной в настоящем точке зрения. Важно также, что Анкерсмит склонен реабилитировать не только концепт «точки зрения», но и идеологию, утверждая, что только последняя делает возможными осмысленные суждения об «исторической реальности», решение, выбор. Политика, по Жижеку, в указанной связи, «это момент, когда особенное требование перестает быть всего лишь частью обсуждения интересов, а оказывается нацеленным на нечто большее, то есть начинает функционировать как метафорическое сгущение глобального реструктурирования всего социального пространства» [13, с. 285]. Важно, что здесь названа важнейшая черта «терроризма», которую ему приписывают большинство современных исследователей: конкретные требования не имеют в виду достижение тех целей, которые заявляются, но нацелены на глобальное, многие утверждают, что именно – на изменение существующего социального порядка в целом, но это же есть отличительный признак политического действия как такового.

Для Жижека «очевидна противоположность между этой субъективацией и сегодняшним стремительным распространением постмодернистской «политики идентичности», цель которой полностью противоположна, то есть представляет собой как раз утверждение особенной идентичности, надлежащего положения в рамках социальной структуры. Постмодернистская политика идентичности особых (этнических, сексуальных и т.д.) образов жизни соответствует полностью деполитизированному представлению об обществе, в котором «учитывается»

каждая отдельная группа, она обладает своим определенным статусом (жертвы), подтверждаемым позитивными действиями или другими мерами, направленными на обеспечение социальной справедливости. Тот факт, что такого рода справедливость, ведущая к виктимизации меньшинств, требует сложного полицейского аппарата (для опознания данной группы, для наказания тех, кто нарушает ее права — как юридически определить сексуальную агрессию или расистское оскорбление? и т. д., — для обеспечения привилегий, которые должны перевесить ту несправедливость, от которой пострадала данная группа), имеет большое значение: то, что обычно превозносят как «постсовременную политику» (работа с частными проблемами, решение которых должно устанавливаться в «рациональном» глобальном порядке указанием надлежащего места его отдельной составляющей), таким образом, на самом деле является концом политики в собственном смысле слова» [13, с. 285–286]. Третье. Дополнительно можно утверждать, что максима политического/террористического действия имманентна ему (что опять же утверждают большинство исследователей «терроризма»): «На более радикальном уровне необходимо настоять на уникальности, абсолютной идиосинкразичности этического действия в собственном смысле слова – такое действие связано со своей внутренней нормативностью, которая «делает его правильным»; нет никакого нейтрального внешнего критерия, позволяющего нам заранее, просто применив его к одному случаю, сделать вывод о его этическом статусе» [13, с. 522]. Политическим действием как таковым является действие революционное, революция [13, с. 508], и для Жижека очевидно, что «здесь возникают две противоположные стратегии: можно попытаться отделить благородную идею Революции от ее омерзительной реальности... или можно идеализировать само подлинно революционное действие, оплакивая его более позднее прискорбное, но неизбежное предательство... Вопреки всем этим соблазнам необходимо настоять на безусловной необходимости принятия действия во всей полноте его последствий. Верность — это не верность принципам, преданным случайной фактичностью их актуализации, а верность последствиям, вызываемым полной актуализацией (революционных) принципов. В горизонте того, что предшествует действию, действие всегда возникает как переход «от плохого к худшему» (обычная критика революционеров консерваторами: да, ситуация плоха, но ваше решение еще хуже...). Героизм действия в собственном смысле слова состоит в принятии этого худшего» [13, с. 508–509].

Нам нет необходимости дальше следовать за Жижекком в его исследовании революционного действия: очевидно, что именно это содержание было «сокрыто» (мы специально употребили это слово, так как устранить, вычеркнуть, уничтожить и т.п. то, о чем мы говорим, нельзя) в «смысловом ядре» того нечто, что мы в этой статье изучаем под именем «терроризм»; то есть на этом пути мы *не обнаружим* «дискурса терроризма», по крайней мере, сопоставимого по значению с представленным Глюксманном, для изменения концептуального каркаса социальной философии/политической философии/социальной теории. Событие – политическое действие – революция – террор: это, может быть, *другой дискурс*.

Выводы

1. Мы увидели «нечто», именуемое здесь «терроризм», с разных точек зрения, причем постарались (в том числе и приводя достаточно обширные выписки) показать, что речь идет об одном и том же «нечто» (хотя вполне понятно возможное в этом сомнение: слишком уж различно не столько описание, сколько отношение к этому «нечто» у Глюксманна и Жижека).

2. Можно попробовать утверждать, что мы имеем дело с описаниями/анализом с двух разных точек зрения: в случае Глюксманна – с точки зрения порядка, в случае Жижека – с точки зрения события как разрыва порядка. Тогда следует установить, что определяет выбор точки зрения, решение в пользу порядка или события. В случае Глюксманна мы постарались показать, что именно *идеология* определяет то, что видит и описывает автор как «дискурс ненависти»; основные утверждения этой идеологии, воспроизводимые Глюксманном в его дискурсе терроризма буквально, легко идентифицируются как *неолиберальные*. В отношении Жижека мы не можем быть так определены, но мы с осторожностью можем предполагать, что его *идеология* – левая и едва ли является версией неолиберальной.

3. Самый главный наш вывод, однако, связан не с идентификацией идеологической ангажированности двух европейских интеллектуалов. Значение понятия «терроризм» для политической философии/социальной философии/политических учений определяется в горизонте идеологии, то есть именно «дискурс терроризма» есть место, относительно которого определяются как его «метафизические углубления» («ненависть» Глюксманна vs «событие» Жижека), так и практическое использование

(как руководство к действию). Мы должны констатировать, что, в отличие, может быть, от «террора», «терроризм» не есть теоретическое (ни тем более философское) *понятие*, но есть идеологема неолиберального дискурса терроризма. Можно усомниться в том, что «террор» имеет черты «партикулярии» (если воспользоваться термином П.Ф. Стросона [16]) или есть «социальная вещь» (по более привычной терминологии Э. Дюркгейма [2]), но это требует изучения. Совершенно определено, что «терроризм» (по крайней мере в том значении, которое ему приписывается) «социальной вещью» не является. Отсюда же следует, что, предположив в начале «смещение смысла» в *понятии*, мы должны отказаться от этого предположения: значение в рассматриваемом нами случае обретается *в дискурсе*.

4. Отсюда понятны и затруднения, связанные с квалификацией некоторых «акторов» политики в качестве «террористических»: для того чтобы быть согласными в этом отношении, необходимо согласиться относительно целей, ценностей *определенной идеологии*, принять неолиберальный дискурс терроризма, в котором вполне возможно, например, отличить умеренную вооруженную оппозицию от террористов (речь о Сирии).

5. Несомненно, что современное использование термина «терроризм» осмысленно только в горизонте неолиберальной идеологии и служит далеко не нейтральным инструментом анализа (социально-философского, социального и политологического) «реальности», но только как «неолиберальный дискурс терроризма».

Примечания

1. Отличие видов знания, в том числе научного от до- и не-научного – совсем не в отчетливости или в какой-то особенной достоверности, очевидности и т.п. научного знания.

2. Нами предложено определение терроризма, учитывающее новые обстоятельства, рассматриваемые в данной статье [4; 5].

3. Рассматриваемое здесь сочинение Глюксманна по своей сути имеет полемическую направленность против понятия политического К. Шмитта (неважно, ссылается ли при этом Глюксманн на Шмитта или нет: он, в силу своих убеждений, и не может на него ссылаться, так как Шмитт для него – враг, в самом точном, «шмиттовском» смысле). Мы придерживаемся мнения, что «дискурс Глюксманна» полностью объясняется *теорией* Шмитта [7–10], и в этом отношении, безусловно, ему уступает, однако подробный разбор этой темы мы предлагаем в другой нашей работе.

Список литературы

1. Рикер П. Справедливое. М.: Издательство «Гнозис»; Издательство «Логос», 2005. 304 с.
2. Дюркгейм Э. Метод социологии // Социология. Ее предмет, метод и назначение. М.: Канон, 1995. С. 5–170.
3. Гадамер Г.Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 704 с.
4. Мальцев К.Г., Зайцева Е.А. Дискурс терроризма как продукт неолиберальной идеологии: методологический аспект // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2015. № 3. С. 111–120.
5. Мальцев К.Г., Мальцева А.В. Глобальный терроризм как социальная вещь: опыт тематизации в горизонте политического // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. № 1. С. 305–316.
6. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, КДУ, 2006. 258 с.
7. Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб.: Владимир Даль, 2006. 300 с.
8. Шмитт К. Теория партизана. М.: Практикс, 2007. 301 с.
9. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1.
10. Шмитт К. Номос земли в праве народов *jus publicum euroaeum*. СПб.: Владимир Даль, 2008. 670 с.
11. Глюксманн А. Философия ненависти. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Граниткнига, 2006. 284 с.
12. Хофмайстер Х. Воля к войне. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006. 288 с.
13. Жижек С. Щекотливый субъект: Отсутствующий центр политической онтологии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 528 с.
14. Бадью А. Философия и событие. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2013. 192 с.
15. Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея – Пресс, 2003. 360 с.
16. Стросон П.Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. И. Канта, 2009. 328 с.

**NEOLIBERAL DISCOURSE OF TERRORISM: A STUDY INTO THE VALIDITY OF REPLACING THE
«DISCOURSE OF WAR» WITH THE «DISCOURSE OF HATRED»**

K.G. Maltsev¹, E.A. Zaitseva²

¹Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

²Alekseev State Technical University of Nizhni Novgorod

The paper studies the possibility and validity of changes in social and political philosophy caused by replacing the «discourse of war» seen as the cornerstone in modern and contemporary political philosophy (P. Ricoeur) with the «discourse of hatred» (A. Glucksmann). As neoliberal ideology is expanding and growing in power, the «neoliberal discourse of terrorism» is considered as a tool to explore social reality; there emerges the importance of ideology in organizing the meaningful space (F. Ankersmit) of judgments about socio-historical reality. The paper also highlights the constitutive role of «point of view» in the ordering of reality. The «neo-liberal discourse of terrorism» is contrasted against political action perceived as an event that ruptures «social order» (A. Badiou), a political event seen as a revolution par excellence (S. Žižek), as terrorism.

Keywords: terrorism, discourse, «discourse of war», «discourse of hatred», «neo-liberal discourse of terrorism», event, decision, ideology.